

ВОЙНА И ЛИТЕРАТУРА

ПРЕДВЕСТНИКИ ПОБЕДЫ

© 2005 В.М. Акаткин

Воронежский государственный университет

У каждой новой поэтической волны свой музыкальный ключ, свой символ эпохи, своя главная нота в оркестре переживаний. Тридцатые годы минувшего столетия буквально прорастали войною. В основном и главном — как ответ на те грозные тучи, которые напоздали на нас со всех сторон. Но были причины и поводы внутренние. Страна еще не отошла от кровавого похмелья двух предыдущих войн — первой мировой и гражданской. Во всю мощь кипели котлы революционно-большевистского мессианизма, для которого война — лучший и скорейший путь к мировой революции. Над советской молодежью взметнулись знамена воинственной романтики, и она отзывчиво встала под них, готовая в любую минуту ринуться в бой и сгореть, как солома.

Война, будто глубочайший земной разлом, обнажила все слои, все тайны бытия, все извивы человеческого сознания. С особой отчетливостью, во всем своем духовном составе высветилось на этом разломе предвоенное поколение поэтов, или, как их часто называют, поэтов предгрозя. Все они учились в советских школах и вузах по одним и тем же учебникам, воспитывались в атмосфере штурма и натиска на “проклятое” прошлое, на косную природу, на мешанство и быт, на несправедливое устройство мира. По их лицам пробегали отсветы великих строек и мрачные тени лагерей, им слышались нескончаемые кремлевские рукоплескания и подавленные стоны жертв “великого перелома”. Трагическая неразрешимость внутренних противоречий побуждала их искать причины во внешнем мире, в последней схватке с которым они готовы были сложить свои головы.

Хронологически их судьбы роковым образом почти целиком уложились между двумя мировыми войнами: до первой или чуть позже они родились, на второй все погибли. Пожалуй, ни одно поколение поэтов не имело так много общих черт, как эти “юноши 41-го года”, по определению критика Л. Лазарева [1]. Майоровс-

кое “Мы” — не только название стихотворения, а потом и сборника стихов [2], но и небывалое чувство локтя, духовной общности, которое их отличало. “Поэзия предчувствий” — вот наиболее частое и верное определение их творческой сути, можно сказать, их мировидческий пароль. Поднятые на арену жизни императивами революции, окрыленные идеями коммунизма и мирового братства, они жили в предвкушении грядущих схваток со всеми, кто мешает счастью человечества. Они рвались из неодолимого сегодня в пресветлое завтра, они готовились к грозным битвам, понимая, что даром ничто не дается — ведь их отцы заплатили кровью, каторгами и тюрьмами за сыновью боевую молодость. И почти все они догадывались, что ради будущего они жертвенно падут на поле боя. Наступательная, героическая обреченность, романтический фатализм — это парадоксальное миро-исамоощущение сильнее всего породило их.

По словам В. Кожина, они “переживали судьбу своего поколения прежде всего в поэзии”, которая была для них “истинной родиной, их державой” [3, 276]. Но поэзия прежде всего новейшая, представленная модернистскими течениями начала XX века, в особенности Гумилевым и Маяковским. Им была по духу их революционная одержимость и трагические предчувствия, готовность за всех расплакаться и расплатиться. Кроме Пушкина и Лермонтова, они редко кого называют из классиков, а прозаиков вообще не упоминают: видимо, анализ прозы не по нутру мифологизирующему мышлению эпохи. Без поэтов предгрозя невозможно представить себе не только литературный процесс 30-х годов (и перво-наперво поэзию), но и ту духовную атмосферу, ту эмоциональную подоснову, на которой взошла великая Победа: преклонение перед будущим и готовность к жертвам. Лирики по самой своей “строчечной сути”, они придавали очерково-повествовательной поэзии той поры так недостающую ей порывис-

тость, устремленность к обобщениям, к глобальному, мировому. Их живыми учителями были Э. Багрицкий, И. Сельвинский, С. Кирсанов, Б. Пастернак. По аналогии с 50-60-ми годами это предвоенное крыло поэзии можно было бы назвать “громким” (в отличие от почвенников-“тихий”). К сожалению, поэты предгрозя плохо изучены, о них нередко судят лишь по нескольким знаковым стихотворениям и даже по отдельным ярким строчкам, которые без натяжек можно отнести к каждому. Но за этими “представительскими” стихами или строчками поколения встают разноликие имена поэтов, у каждого свой характер и свой почерк, свои тягбы с действительностью. С наибольшей полнотой, возможной для юного возраста, выразили себя А. Недогонов, Б. Богатков, М. Кульчицкий, П. Коган, Н. Майоров и некоторые другие.

В духовном облике этих поэтов, на первый взгляд единых и цельных, скрыты свои противоречия и свой путь развития. Несмотря на то, что им так мало было отпущено времени, они в кратчайшие сроки проделали сложную эволюцию, суть которой можно обозначить как отрезвление, как преодоление революционного романтизма и заданности и как обретение почвы под ногами, постижение народа на этапе трагических испытаний. Особенно зримо эта эволюция проступает при первых же столкновениях с фронтовой реальностью.

Правда, тут есть свои неожиданности. Парадоксально, но факт: многие из них лучшие свои стихи о войне написали перед войной, воспринимая ее умозрительно, априорно. Образам, которые они рисовали в воображении, не мешала реальность войны, они соответствовали их отвлеченному пафосу и казались убедительными. Под бомбами и пулями все смешалось, перекопилось, поплыло. Чертеж войны забрызган грязью и кровью, изрешечен осколками. Высокая лексика призывов и клятв сменилась криками и стонами — какой уж тут романтизм? Решительно споря с прежними представлениями, едко иронизируя над своими победно-детскими мечтаниями, они порой бросались в демонстративный натурализм. Ярчайший пример подобного переосмысления — стихотворения М. Кульчицкого и А. Недогонова. Первого довольно часто цитируют, в особенности “Я раньше думал: лейтенант...”. Но еще более резко, почти издевательски разделяется с ребяческими фантазиями о войне, подвигах и легкой славе А. Недогонов. Причем он начинает решительный пересмотр школьного романтизма, будучи еще на финской войне, тогда как “Налейте нам” написано в 1942 г. В стихотворении “Дорога” А. Недогонов пишет:

*Я, о смелом подвиге мечтаю,
рисовал войну примерно так:
парочка веселеньких атак,
путь домой
и — слава золотая!*

*Маленький,
наивный человек,
рыцарек со шпагой картонной... [4, 50].*

Однако в его более ранних стихотворениях мы не найдем этой картонной шпаги, значит, упрек адресован не себе, а эпохе, поколению в целом. Уже в начале 30-х годов его стихи пронизывает, врываясь даже в любовные признания, суровая готовность к грозным будущим испытаниям, жажда боя — страшного и последнего. Напряженность души, особая приподнятость, форсированность интонаций вызвана временем, нетерпеливым стремлением в светлое завтра. Юные романтики жили в предошущении, что вот-вот должно произойти что-то невероятное. Гроза, вихрь, огонь, обвал, ливень — вот самые распространенные слова-эмблемы в их стихах. Будничного, обыкновенного, привычного, а тем более заурядного они не терпели или возводили его в степень исключительного и даже катастрофического:

*Под крышу рванувшийся желоб
выл сквозняком дождя [4, 10].*

В их стихи властительно ворвался лирический максимализм Маяковского, он стал для них как бы заглавным зрением. Недогонов, далекий от него характером своего дарования, с трудом преодолевает стилистическую зависимость от “агитатора, горлана, главаря” революции и порой прямо накладывает его образность на совсем иной жизненный материал.

*Но, вдаль маня,
дорога,
как боль сквозная,
кидала вперед меня [4, 10].*

Едва встав на ноги, едва простившись с “глупым детством”, герой Недогонова уже чувствует: “Близок бой” [4, 13]. А ведь это сказано в 1934 году! Он ощущает себя как бы между двумя жерновами: страшным прошлым, разбитым, но осевшим в памяти и культуре, и не менее страшным настоящим — миром капитала, черным воплощением которого явился фашизм. В прошлом — заговоры, казни, восстания, темная и тяжкая судьба предков, в настоящем — деревянная Россия, бредящая “подвигами, войнами, огнем”. Его ро-

дословная, выяснению которой он посвящает целое стихотворение, выводит на дорогу “последнего и решительного”. Поэтому от предков он берет в наследство только то, что необходимо для боя и победы.

*Что от родственников я приму?
Что для светлой радости приму я?
Я приму лишь только цвет крови,
только силу,
только звезды мира.
— Ты меня на битву позови, —
это будет именно для мира.*

*Я возьму товарищей,
свинца,
хлеба фунт
и песенку поэта.
У моих товарищей сердца —
из железа,
радости и света.*

*Мы возьмем свое наверняка!
Мы пройдем
с большим огнем заряда
по путям последнего парада!*

*Дайте башню для броневика!
Возникайте, бури,
если надо! [4, 16-17].*

Мир, не подвергнутый атаке, переустройству, для него не интересен. Он замечает его только после грозы и ливня, вот тогда-то и рисуй, поэт, этот “новый мир — промытый, свежий” [4, 20]. Радикальнее всего может изменить его только гроза — уплотненная в кратком времени революция.

Почти у всех поэтов предгрозя, в том числе и у Недогонова, до навязчивости постоянно образ сжатого в пружину, стремительно летящего вперед времени, взвинченного темпа. Буквально во всем сквозит напряжение прорыва, роста, стремительный напор весны и обновления, счет идет на секунды.

*Нам времени мало дано
(то мира жестокая мера)!
Да будет столетье одно
и ныне и присно равно
делению
секундомера! [4, 18-19].*

Почти каждый из поэтов предвоенной поры написал себе эпитафию, а главным событием в ней была смерть во имя светлых идеалов революции и коммунизма, во имя процветания Родины. Смертный исход был у поэтов какой-то

роковой обязанностью. В многочисленных завещаниях юные авторы рассказывают о том, как они хотели бы приобщиться к громкой славе древних, к подвигам исполинов, стать их Боянами и Кобзарями. Недогонов в своем завещании надеется, что следы его героя будут видны и “под звездой двадцать пятого века”. Подобная слава обретается только “в дороге военной”.

*Бьют копыта времен!
И путями сердцебиенья,
Площадями Восстаний
проходит Мое Поколение,
потрясая богов [4, 25].*

Все-все сведено к штурму времен, ожиданию боя. Если летит к дальним городам курьерский поезд, то в тамбуре непременно курит военный. Если изображается охота, то главное в ней — жажда “свинцовой развлеченья игрой”. Даже во сне над героем гудит сигнал тревоги, во всем он видит скрытые приметы недоброго и враждебного. Выходя в спокойную долину, он слышит под землей гром мечей Батыя, от которых мгновенно просыпается, но предчувствия его не обманули.

*Ночью шла гроза,
кореза клены,
сны ломая,
руша погребя.
... Мимо пролетают эскадроны,
и ревет военная труба [4, 40].*

Не проспать бы, не опоздать, не остаться бы в стороне от битвы, от победы и славы. И он подстегивает себя, чтобы вместе с другими прорваться в будущее.

Очень характерны названия стихотворений А. Недогонова (и не только его). В них эмблемы, сигналы духовного состояния, выражение температуры души, велений времени: Долг, В пути, Предгрозя, Прощание, Каска, “Близок бой...”, Моя эпитафия, Завещание, Предчувствие, Перед грозой, Хлеб победы и т. п. Он словно задыхается в сгущенной атмосфере военного предгрозя, его тяготит томительное ожидание: уж лучше скорее гроза, дуговая разрядка молний, ливень и, наконец, свежесть озона. Ожидание грозы — это, конечно же, прозрачное предсказание подступающей войны, всполохи которой уже метались по горизонтам. Недаром самолет на аэродроме “мотором к западу стоит” и внимательно “ждет сигнала”. Мир катится на колесах огня, все переполнено ожиданием боя. В чуткой душе поэта предвоенная грозовая атмосфера отзывается напряжением воли и потоком тревожной, мобилизующей образности.

*Снова бури ночное движение.
Я с военной грозой знаком.
— Снаряжайте в любое сражение,
дай коня мне, Железный Нарком,*

*выдай мне сапоги, чтобы шпорам
глухо звякать и рваться вперед,
укажи мне пути, по которым
наша вечная слава пройдет.*

*Я товарищей кликну — воротятся
от уюта, покинувши дом.
Песни есть! Запевала находится,
Мы себе полководца возьмем
и рванемся... [5, 19].*

Что остается делать, когда грозит беда? Только — к оружию, только — в бой!

*Прямая молодость моя!
Прими сухой закон ружья!
Прими одежду цвета хаки! [5, 24].*

Мчатся боевые поезда к границам, чахнут рейнские травы, смятые солдатскими сапогами, беспокойно течет Амур, стучат “золотые часы расставанья”.

*— Скоро будет война!
Поцелуй ты меня на прощанье
и в далекий поход
поскорее меня снаряди!*

*— Завтра будет война!
По заставам
грохочут копыта,
и над пашнею мира
ревет боевая труба [5, 29].*

Эти строки написаны в 1936 году! Некоторые стихи Недогонова будто набросаны в перерывах между боями, а не в мирное время. Не одни только разведчики предупреждали страну о грозящей опасности. Открытым текстом говорила об этом и наша поэзия и, быть может, раньше всяких разведдонесений. Страшные, косые глаза из времен Батыя леденяще уставились прямо в душу России, и в ответ на этот дерзкий разбойный взгляд надо немедленно облечься в военный френч и взять в руки оружие.

*Близок бой.
И вот сквозь дым багровый,
дым долин,
летающий до морей,
я встаю.*

*Клянусь последним словом
в преданности Родине моей.*

*Ты поверь,
не ради легкой славы,
я давно скрепил с тобой родство.
Эти песни счастья,
эти клятвы
в мир идут из сердца моего.*

Ты прими их и не дай померкнуть... [4, 13].

Оживают, наполняются громом и гарью старые батальные картины, бродят по земле тени германских завоевателей, вот они уже переходят испанскую границу, “стуча от крови черным сапогом”. И давно уже на их знамени не голубь мира, а ястребенок. Будто на экране высвечивается перед глазами поэта то, что под покровом ночи тайно готовится за рубежом, он отчетливо слышит из будущего, как “пушки германские заговорят на языке своем” [4, 44]. Даже голуби мира несут в клювах веточки тоски, ибо раскаляется очаг войны, несущей разруху и смерть, ибо падают несчетно на песок солдаты. Из всех поэтов фронтового поколения А. Недогонов, пожалуй, самый чуткий и зоркий, он выразил не только всеобщее ощущение тревоги, но прямо указал, откуда исходит опасность и с кем предстоит сражаться. Предельно широко — “от ханской орды до фашистских могил” — раскинулась у него зона тревоги, предвещающая вторую мировую. Причем юношеский романтизм, ожидание славы и наград не помешали ему трезво взглянуть на войну. Холмы и курганы, лежащие окрест, кажутся ему не таинственными хранителями доблести, а “мозолями войны на ладонях земли”, вся она на многометровую толщину, только копни, набита оружием и костями. Воспринимая войну как зло, он предметнее и сердечнее многих выразил чувство долга и готовности защищать родную землю.

*Милая Родина! Ты в бою
только мне протруби;
если надо тебе
мою
голову — отруби!*

*Факелом над землей подними,
долго свети, свети,
чтоб открылись пред людьми
светлые все пути [4, 45].*

Так где же у него “картонная шпага”? Почему вдруг собственные переживания, не лишённые исторической правды, показали поэту

наивным рыцарством? Ответить за него, тем более определенно, невозможно. Однако очевидно одно, что уже финская война оказалась для него холодным отрезвляющим душем, своей жестокостью и жертвами (за какие-то месяцы погибло более трехсот тысяч наших бойцов) она превзошла все тревожные ожидания поэтов предгрозя. Они сразу и решительно повзрослели, жестокая мясорубка у линии Маннергейма отбросила их книжную романтику и архаичную поэтику. В снегу, в окопчиках, за камнями и деревьями лежали реальные люди, стонали, истекали кровью, умирали, шли в атаку и падали, вовсе не думая ни о бригаантинах, ни о пиратах, ни о подвигах и славе. Оказавшись среди этих людей, они почувствовали, что немалая часть их словесного арсенала выглядит поистине бутфорской картонной шпагой (труба, поход, копыта времен, Железный Нарком, парад, френч и т. п.). Это скорее из картинок и кинофильмов для детей, чем реалии современной войны, взгляд на нее со стороны, из безопасной литературной зоны. А что же увиделось на самом деле? Какие пришли новые слова? Это — “тяжкого долга веленье”, треснувшая на морозе кость, “придется многим лечь”, пустота разлуки с друзьями, одиночество, суровейший быт войны, кровь и пот, “боли раны жгучей” и т. п.

*Выноси, мужайся и терпи,
нелегка судьбина фронтовая!
Хочешь спать — ложись в сугроб и спи,
опаленных век не закрывая! [4, 51].*

Хлеб победы на войне режется штыком, на котором остались следы невытертой крови. Вот она, натуральная война, а вовсе не “парочка веселеньких атак”, не красивый фейерверк, как представлялось юношескому воображению. Да, мир “к железу привык” и на железе стоит, в железном грохоте войны надо отказаться от всех иллюзий и суетных трепыханий, иначе ни выжить, ни победить.

Из юношей 41-го года едва ли не самую стремительную и показательную эволюцию прodelывает Б. Богатков. Первые его стихотворения — это еще полудетский бред о сражении, где он на “безупречно белом коне” въезжает в поверженную крепость, а каждый пролом в крепостной стене превращается для храбреца-героя в триумфальную арку. Однако и этого мало: скакун пролетает над бездной, пред ним распахиваются побежденные ворота, а героя ожидает слава и торжество. Картина настолько наивна и побылинному архаична, что достойна насмешки, да и сам автор смущается от нарисованного.

*Качнув головою, улыбаюсь устало:
Борис, Борис, довольно сражаться.
Ведь тебе ни много, ни мало —
Уже почти девятнадцать [6, 45].*

Богатков, как и всякий подросток, нетерпеливо ждет совершеннолетия, завидует отцу, которому доверили “наган тяжелый вороненый”. А что же он совершит такое, достойное мужчины и гражданина? Ведь времена подвигов не ушли, кажется, наступает пора, когда он может испытать себя, доказать свою силу и смелость.

*Охватило страны пламя злое
Новых разрушительных боев,
Вовремя пришло ты, боевое,
Совершеннолетие мое.*

*Встану я, решительный и зоркий,
На родном советском рубеже
С кимовским значком на гимнастерке,
С легкой винтовкою в руке [6, 49-50].*

Как это похоже на олеографичные плакаты, которых немало появилось во второй половине 30-х. Из того факта, что отцы победили в революции, автоматически выростала уверенность в собственной непобедимости. Разумеется, это чувство необходимое и законное, а вот весьма вредным было убеждение в легкости победы (не отсюда ли так распространенный мотив славы), чуть ли не в прогулочном характере предстоящей войны. За это пришлось расплачиваться миллионами и миллионами. Дорисовывая свой благополучный плакат, Богатков в духе времени пишет о неприкосновенности наших границ, которых не удастся нарушить никакому врагу:

*Наши танки ринутся рядами,
Эскадрильи небо истемнят,
Грозными спокойными штыками
Мы врагу укажем путь назад [6, 50].*

Как просто было отличиться и заработать громкую славу в подобной войне! И Богатков ждет повестки, уже давно собран у него походный чемодан, давно уже он чувствует себя призванным. “Наконец-то!..” — это стихотворение с головой выдает мальчика, которому надоело сидеть за школьной партой и скучать на уроках: пора быть мужчиной и героем. “Вот она, желанная, в руках!” — восклицает он, получив повестку из военкомата. Характерно, что на всех фронтах Богатков видит вокруг себя только молодежь, таких же юнцов, как и он сам. Это сугубо поколенческое, школьное видение войны, впрочем, в нем нет ничего предосудительного (всему свое время):

*Молодость за все родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам моим!* [6, 51].

Как он рад, как он счастлив оттого, что призван! Проходя по улицам столицы, он не скрывает своего настроения:

*Я последний раз в одежде штатской
Под военным небом прохожу* [6, 50].

По первым стихам, написанным на фронте, видно, что Богатков еще не избавился от плакатно-романтических штампов: “вороненные пулеметы” (как пистолеты отца), “безотказный ППШ”, “священный гнев”, “ливень пуль”, “долгожданный приказ” и т. д. (стихотворение “Перед наступлением”). И только хлебнув окопных тягот, получив ранение, он начинает иначе, своими глазами смотреть на войну, видит разбитые блиндажи, срезанные пулями задымленные поля ржи, “плохую погоду — солнечный день”. Никогда бы раньше не посчитал он солнечный день плохой погодой, да война научила: в хорошую погоду бомбят фашистские стервятники, значит, для солдат она самая плохая. Не на белом коне гарцует теперь герой, нет, ему видится совсем иное:

*Вспомнил ты ощутимый щекой
Холод земли сырой,
Соседа, закрывшего голой рукой
Голову в каске стальной.
Пота и пороха крепкий запах...* [7, 45].

Такое не придумаешь на школьной скамье — надо побывать “там”, “на передке”, увидеть, испытать все самому. Стихотворение “Причина грусти” явно контрастирует юношеским строкам о триумфальных арках, даже рискованно по своей прозаической направленности. А причина грусти тут — “горшок, погибший вместе со щами”. Серьезна ли причина? Конечно, как и потерянный кiset у Твардовского (правда, Богатков не сумел осилить, сплавить большое и малое — двор, дом, семью, края родные, Россию и кiset, как это сделано в главе “О потере”). От белого коня к голой руке, закрывшей стальную каску, и к прозаическому горшку для супа — какая ускоренная эволюция, остановленная на полдороге: смерть оборвала творческие поиски и не отпустила времени, чтобы органично сплавить романтику и прозу в новой поэтической образности, чтобы рассмотреть живого человека на реальной, а не книжной войне.

Война многому научила, хотя это и страшная наука. Она научила прямо и смело смотреть в глаза правде, обратила взор к самым главным, самым дорогим ценностям, краеугольным камням человеческого бытия. Далеко не все нашли нужные слова, чтобы художественно выразить открывшуюся страшную правду войны. Многим удалось лучше писать о войне завтрашней, чем на глазах происходящей. Так, эстетикой ожидаемого боя пронизано все творчество Павла Винтмана, погибшего в 1942 году под Воронежем. По свидетельству Л. Вышеславского, Винтман убежденно говорил: “Поэт должен прямо идти на встречу смертельной опасности. Только тогда он сможет по-настоящему свидетельствовать о жизни и о людях” [8, 5]. В этих словах таится непростое противоречие, решать которое необходимо с максимальной осторожностью. Конечно, легко задать вопрос: а разве нельзя свидетельствовать о жизни и людях вне смертельной опасности? А если опасности нет, значит, надо создавать ее искусственно, ставить эксперименты над собой и людьми? Но ведь у Винтмана, как и у многих его ровесников, не было выбора. Он предчувствовал не только фатальную неизбежность схватки миров, но и собственной смерти.

*Над нами с детства отблеск молний
медный,
Прозрачный звон штыков
и желтый скрип ремней.
Во имя светлой будущей победы
Нам суждено в сраженьях умереть* [8, 11].

Стихи его, приложившие ухо к приближающейся войне, нередко носят характер пророчеств. Подчас Винтман пишет так, будто давно участвует в боях:

*Романтика седых ночей,
Романтика солдатских щей,
Колес неровный перебой...
За мной романтика, за мной!* [8, 12].

Эти стихи написаны в стенах университета, на студенческой скамье, они явились формой участия поэта в происходящем.

Как и многие его сверстники-романтики, Винтман хотел бы жить размашисто, азартно и напористо, по возможности без быта и прозы, ярко и возвышенно, без закруглений и овалов, а тем более “позорного благоразумия”.

*Не поймут моей дороги,
Голубой, как луч сквозь дым,
Люди медленного бога,
Люди маленькой звезды* [8, 39].

Так он писал уже с финской войны, где оказался “по собственной охоте в погоне за романтикой”, хотя “трижды имел возможность возвратиться с комиссии, т. к. не служил до этого в армии, но бил себя в грудь, вытаскивал снайперское удостоверение и добивался своего из-за того, что, во-первых, хотел, а во-вторых, считал постыдным вернуться с полдороги...” [5, 37]. Война мыслится ему как радикальный и скорейший способ воздействия на жизнь, как кратчайший путь к самоутверждению – пусть даже через гибель. Самый страшный его враг – обыденность, застылость, покой, всякое повторяющееся, ставшее традицией. Ему необходимо что-то чрезвычайное, грозное и большое, чтобы дать выход внутренней энергии, жажде воплощения. Он примеривает к себе грозную эпоху и, кажется, рад, что она припала по нему, что они нужны друг другу.

*Вчера был бой и завтра будет бой
(Святая цель оправдывает средства),
Пусть скомкан мир прозрачно-голубой,
Забыв покой, разбито детство.*

*О, только бы в атаку вновь лететь,
Разить врага, хмелея от азарта.
Вчера был день и завтра будет день, –
Мы только ночь между вчера и завтра [8, 25].*

“Годе́н к бою” было мечтой и высшей наградой для поэта-романтика. Выросший в эпоху борьбы и противостояний, он томится в тихой вузовской аудитории, ему нужен не просто мир, а мир как его внутреннее подобие. Повестка, призыв, тревога, прощание, набат, гроза, бой, атака – эти характерные для него слова то и дело, будто заклинания и команды, раздаются в стихотворениях Винтмана, написанных еще до большой войны. Не видя подлинного боя, он переживает “упоеание в бою”, и это самое счастливое его состояние. Он благодарит время за то, что оно предоставило ему возможность торжествующе переживать “минуты роковые”.

*Я люблю тебя, мое время,
Не за то, что мы лучше вчерашних,
За винтовки привычное бремя,
За косые полеты шашек.*

*Пусть мы часто теряли стремя,
Пусть еще далеки до цели,
Я за то люблю тебя, время,
Что умру я не на постели [8, 33].*

Поэтика романтического максимализма, чаще всего питаемая книжными источниками,

нередко приводила к гипертрофии активности, к перманентной наступательности; поэта, мягко говоря, заносило: гроза ради грозы, борьба как средство и цель, азарт, помноженный на азарт, торжество во имя торжества. Мужество просто жить среди людей уступало место повышенной мобилизованности, неременной жертвенности и завоевательности, самоцельной игре в активность и боеспособность, в демонстрацию мускулов.

*Родиться, вспыхнуть, ослепить,
Исчезнуть, не дожидаясь рассвета...
Так гаснут молнии в степи,
Так гибнут звезды и поэты [8, 34].*

В сущности, это не столько героические, подвижнические настроения, сколько бесцельная вспышка ради мгновенной яркости, ослепительная заявка на исключительность. Учитывая всю трудность разговора на столь деликатную тему (ведь поэт погиб на фронте), все-таки скажем, что всем его предвоенным стихам о войне недоставало очень важного, человеческого необходимого элемента: понимания вынужденности солдатского права убивать, понимания войны как трагического дела защиты жизни. Почти в каждом его стихотворении так или иначе прозвучивает смерть, даже веселая обреченность смерти, а война принимается как данность, как вообще жизнь: “Ну что ж, если войны – так войны” [8, 22], “И отныне я послушен Боевой своей судьбе” [8, 24], “Победителей не судят” [8, 28] и т. п. Выходит так, что если без грозы не начинается лето, то без войны нет настоящей жизни. Однако нет ли здесь, при всей наступательной активности поэта, какой-то безвольной сдачи на милость обстоятельств, покорности мифологическому богу войны?

*Я повторять готов азы
Твоих путей, моя эпоха.
Живу я, может быть, неплохо,
Но с нетерпеньем жду грозы [8, 31].*

Странное дело: обычно человек мечтает о жизни, о мире, о любви, а у П. Винтмана какие-то хладнокровные фантазии смерти, мечты о последнем сражении и собственном конце. Что тут – возраст? Эпоха? Голос небес? По словам Л. Вышеславского, в стихах Винтмана поражала именно фатальность конца, сведение всех путей к смерти, о которой он говорил “без тени трагизма, совершенно спокойно” [8, 5]. Но если спокойно говоришь о собственной смерти, не будешь ли спокойно смотреть и на гибель других? Возможно ли подобное спокойствие и как его

объяснить? Да, для таких поэтов, как П. Винтман, “самое страшное в мире — это быть успокоенным”, но разве смерть — не окончательное успокоение? Противоречия эти вполне объяснимы: многое в его декларациях от литературной игры, от эстетической позы, а многое просто ради красивого словца.

*Что может быть лучше предгрозя?
Тревогой весь мир опоясан.
Лишь ветер, как шапкою оземь,
Как ухарь-казак перед плясом [8, 90].*

Подобные стихи изобретаются, придумываются, хотя и могут показаться искренними. Когда же увидена была настоящая война, литературная поза и образность — пусть яркая, пышная и впечатляющая, уступили место правде переживания, своеобразной естественности формы. Винтман почувствовал в себе эту поэтическую переоснастку еще перед войной.

*Я не любил простых стихов
И опасался рифмы точной,
Я был до старости готов
Лепить узор капризных строчек.*

*Но в наши дни, перед грозой,
Когда невиданным боям быть,
Когда немислим слов узор, —
Чертовски мужественны ямбы [8, 32].*

Романтический реквизит не противопоставлен войне, однако здесь он работает иначе, здесь он ближе и к реальности боя, и к правде переживания: “соленая пена войны”, “хмелея от азарта”, “О горькая капля прощанья В победы искристом вине” [8, 27] и т. п. Война безжалостно бросила юношей-романтиков в свою тяжелую кровавую прозу, с которой трудно, а порой и невозможно было управиться поэтическому воображению.

*Такая в этом боль, тоска кругом такая
В молчанье деревень, и в дымном вкусе рос...
Дорога торная, дорога фронтовая,
Печальная страна обугленных берез [8, 38].*

Война, словно огневой лемех, перепахала былые привязанности, дружбу, верность, любовь, и за взрывами вовсе не “освежающий озон”, как грезились романтикам, а “прокисший зачумленный запах”, сыпнотифозные бараки; не возвышенной любви, а “тайнству совокупленья учит чужих невест приезжий лейтенант” [8, 40]. И как она, реальная, разительно отличается от праздничных фейерверков...

*Есть у войны и другое лицо —
Страшней, чем гримаса ограбленных дочиста,
Война — это хрипая ругань бойцов
И жуткое женское одиночество [8, 45].*

Кстати сказать, это прозрение, это отрезвление, постижение войны как беды, а не как паграда, не изменило у “юношей 41-го года” понимания долга. Они мужественно несли солдатский крест, храбро сражались и погибали, но уже за новые, открывшиеся на войне ценности — за право жить, быть человеком, за будущее, за себя, за всех.

*Мы шли на бой во власти древних правил —
Шадить детей, лежащего не бить...
А нас поили злобой и отравой,
И я клянусь — мы не умели пить [8, 51].*

Подобными стихами они прорывались в будущее, к общечеловеческим заповедям, а вернее, к истинно народному взгляду на войну, от чего были так далеки в эпоху предгрозя. Воинственно настроенных романтиков спасла их гражданская зрелость, самоотверженное исполнение рыцарской клятвы перед Родиной, их бесстрашие перед черным зевом войны. “Спокойное” отношение к собственной гибели сослужило им хорошую службу: они не делали на войне карьеру, не освобождали себя от солдатских обязанностей, не уходили от ответственности “за Россию, за народ и за все на свете”, как сказал Твардовский. Из этого, а не из отвлеченного умозрения, вырастала их уверенность в победе: “мы все битвы пройдем”, вернемся к любимым на улицу “Радостной встречи”, встретим праздник на площади “Счастья народов”.

А что же будет, когда отгремят бои? Какая жизнь утвердится на земле? Ради чего это нечеловеческое напряжение и подвижничество, это “упоеание в бою”? Наградой за пролитую кровь будет спасенная Родина, свободный народ, мир на всей планете. Даже об этом успел сказать перед войной П. Винтман:

*Без жалоб мы пускаемся в дорогу
И где-нибудь, на энском рубеже,
Последний шаг мы отдадим народу,
Последний вздох оставленный — жене.
Мы потому уверены в Победе,
Нам потому не ведом жалкий страх,
Что юность наша с мужеством — соседи,
Что нежность наша — ярости сестра [8, 46].*

Стихов о войне, написанных в окопах, у Винтмана немного. Казалось бы, наконец-то на-

стало то, чего он так страстно ожидал, наконец-то романтик обрел свою почву: борьба, опасность, риск, возможность отличиться. Однако затянувшиеся будни войны нарушили стройность головных построений. Не один бой, не пару стремительных атак довелось увидеть, а недели и месяцы непрерывных, изнурительных и вовсе не победных боев. На такие длительные сроки романтических всплесков не хватает. Рядом совсем не по-книжному мучались от ран и умирали товарищи, не прибегая к романтическому словарю. Поэту с авангардным, наступательным мышлением пришлось долго отступать. Пришлось почувствовать босыми, окровавленными ногами содрогающуюся от стога и боли народную почву. Война, быть может, впервые свела П. Винтмана, как и многих ему подобных, с народом (в чем признавался и К. Симонов), которого они (за редкими исключениями) не видели и не знали. Война жестоко учила их понимать меру всех вещей, отличать настоящие ценности от ложных. Краткие, афористичные, энергичные, уверенные в себе довоенные стихи Винтмана уступают место дневниковым наброскам, заметкам, непроясненным мыслям, будто он заново учится писать. Вызревает что-то другое, не успевшее обрести законченную форму. Недаром он присылает с фронта не стихи, а фрагменты писем к жене...

Показательна эволюция и М. Кульчицкого, пожалуй, одного из главных знаменосцев поэтов предгрозя, который откровенно признавался: “Я романтик разнаипоследних атак” [9, 17]. Пока словесных, ибо до настоящего дела еще не дошло. Словно отстаивая себя в принципиальном споре, он писал:

*А я романтик.
Мой стих не зеркало –
но телескоп.
К кругосветному небу
нас мучит любовь:
боев
за коммуны
мы смолоду ищем... [9, 16].*

В этой поэтической декларации явно слышится голос их общего учителя Маяковского – вплоть до рифм и лесенки, не говоря о смысловой доминанте. Впрочем, по “кругосветному небу” свободно доставали его и другие влияния: Киплинг, Гумилев и др. Но романтика сказывалась не только во взгляде на мир и словесных переключках с учителями, она была его зрением, настроем его души. Важно, как он сам воспринимает свое время, в данном случае войну, которая была для романтиков главным избавителем от

застоя и мешанства, от оседлости и какого-либо постоянства.

В стихотворении “Друзьям-десятиклассникам” М. Кульчицкий признается: “На тусклых осенних штыках Детство мое улыбалось” [9, 8]. Получив благословение штыком, он мечтает о том времени, когда красный флаг “зашумит – разовьется над самым последним из наших боев!” [9, 11]. Война для него – прежде всего победа, с нею связывается мечта дойти до океанской последней черты. Истинный “шарземец”, как он себя называл, Кульчицкий рвался к бою, к какому-то глобальному поединку, у него “каждая строчка – это дуэль” [9, 18]. Надвигающуюся военную грозу он хочет встретить в полной боевой готовности: “Мы поднимаем винтовочный голос” [9, 22], “Пулеметный огонь песню пробовать будет” [9, 24] и т. п.

*Наши будни не возьмет пыльца.
Наши будни – это только дневка,
чтоб в бою похолодеть сердцам,
чтоб в бою нагрелись винтовки [9, 16].*

Готовый к “решительному и последнему”, готовый сам упасть в бою, он уверен, что знает, ради чего этот бой. Пламя революции согрело и винтовку, и его военную трубу.

*Уже опять к границам сизым
составы
тайные
идут,
и коммунизм
опять
так близок,
как в девятнадцатом году [9, 21-22].*

Но почему же вдруг появляется “мечтатель, фантазер, лентяй-завистник”? Вроде бы несправедливы, как и у Недогонова, эти обвинения и себя, и всего поколения предгрозя, особенно в последнем. Но это стихотворение пишет человек, хлебнувший боя, кровавых атак, невылазной грязи и крови войны, пишет не в студенческой аудитории, мечтательно глядя в окно, а перед отправкой снова туда, откуда возвращаются далеко не все. И старомодные сабли, и фейерверки, и всадники, и упоминание лейтенанта, породненного в рифме с “налейте нам”, – все это принадлежность придуманной, “гравийной” войны. А она совсем другая, прежде всего трудная работа,

*Когда,
черна от пота,
вверх
скользит по пахоте пехота.*

Марш!

*И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чеботы
весом хлеба в месячный паек [9, 29].*

Одолеть такое могут только герои, и недаром пуговицы на бойцах кажутся ему орденами. Но “не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино”, — завершает Кульчицкий это принципиальнейшее стихотворение, знаменующее новый взгляд на войну и на романтику боя. И уже не “я”, не коммунизм, а Россия, Родина становится для него центром мироздания.

*И каждый взрыв или пожар
В любом твоём доме
Я ощущаю как удар
По сердцу моему [9, 25].*

Как только поэт оказывается вне обоймы поколения, вне общих знаковых строк, а сам по себе, он видится совсем другим. Очевидно, многие этими общими строчками отдавали дань эпохе, выражая себя какой-то частью, быть может, не главной. Так, М. Кульчицкий записывает в дневнике: “Я люблю Чехова и Есенина и не хочу умирать” [10, 185]. Это написано в 1936 году, когда названные авторы не были популярны, а Есенин вообще был запрещен. Кульчицкий болезненно переживает комплекс социально-классовой ущербности — его отец был офицером царской армии, из-за чего сына не принимают в школу лейтенантов, тычут ему при каждом случае в этот пункт анкеты. Он такой боевой и самоуверенный по видимости, “от противного”, а на самом деле не верит в себя, сомневается в своей способности писать стихи и даже испытывает безразличное отношение к ним, чувствует себя одиноким и неприкаянным: “Я бы добровольцем в Испанию. Что я здесь?” [10, 188]. В то время когда многие литинститутовцы рвутся на финский фронт (записались добровольцами 25 человек), он признается: “Меня Финляндия устраивает тихо, я — если пойду в эшелон, то только на Берлин или Париж” [10, 190]. Он, пишущий вроде бы в унисон с эпохой, почему-то уверен, что его стихи “не напечатают пока; сейчас надо такие: “Вперед! Ура! Красная заря!!!” Я таких писать не умею, видит бог...” [10, 190]. Именно Кульчицкому принадлежит определение “тихие лирики”, которые “ополчились” и на его стихи, и на выступления Б. Слуцкого. Он видит себя среди “громких”, в “могучей кучке” поэтов-футуристов и уверен, что “перевес пока на нашей стороне” [10, 191]. Однако и здесь — у себя ли он дома? По дневниковым признаниям видно, что

он весь в поиске, в метаниях, а “громкая” эпоха заглушает его сокровенный голос и диктует свое.

П. Коган представляется многим прямо-таки воинственно-романтическим поэтом, написавшим наиболее знаковое для 30-х годов стихотворение “Бригантина”. В его чувствованиях есть что-то extraordinary, из ряда вон выходящее:

*Авантюристы, мы искали подвиг,
Мечтатели, мы бредили боями [11, 275].*

Он любит все исключительное, ударное, острое, добела раскаленное внутренним огнем. Его идеал — общественные и природные стихии — война, бушующее море, гроза. Пусть боятся грозы другие, но ему она по душе, она падает на землю “косым, стремительным углом”, громовым раскатом оглушая окрестности, “с размаху вышибая дверь”, все ломая на своем пути (гроза — метафора революции). Он так же хотел бы ворваться в человеческую жизнь, всколыхнуть ее до дна, оглушить, ослепить. При такой заряженности на авантюры, бои и подвиги трудно полюбить что-либо, трудно оставить в покое человека, не согласного с ним во мнениях — он кажется врагом, которого надо осудить или уничтожить.

*О, пафос дней, не ведавших причалов,
Когда, еще не выдумав судьбы,
Мы сами, не распутавшись в началах,
Вершили скоротечные суды! [11, 100].*

Обыкновенная жизнь с ее грошевым уютом, щами, бельем до пят и храпом кажется ему ненавистным врагом. Чем слушать звон кастрюль и храп, лучше поднять паруса романтики и умчаться в пиратские просторы.

Над кем и над чем вершит он свой суровый суд, не знающий пощады? Надо всем, что не соответствует его романтическому аршину. В своем распаленном нетерпении он готов одним махом “перекроить эпоху”, и не только “транспортным”, но и “мечом”. Что дает ему право на такую “перекройку”? Убежденность в своей правоте, в своей очистительной миссии.

*О родина! Я знаю шаг твой,
И мне не жаль своих путей.
Мы были совестью абстрактной,
А стали совестью твоей [11, 153].*

С подобным убеждением все позволено. “Двенадцатилетние чекисты”, правдолюбцы, аскеты, они не стеснялись в средствах и выборе врагов.

*В лице молочниц и мамаш
Мы били контру на дому [11, 153].*

Не тут ли источник его болезненной рефлексии, одиночества и тоски? До покаяния не дошло, конфликт внутренний переключался во внешний.

Никто так громко не славит свою эпоху и свое поколение, как П. Коган. Ему кажется, что “лобастым мальчикам невиданной революции” выпала такая участь, которой будут завидовать “мальчики иных веков”. Какая же это участь? Дойти до Ганга, до Японии и Англии, совершить мировую революцию и учредить “земшарную Республику Советов”. Но какая-то чрезмерность и утопичность сквозит в этих вселенских замахах, какая-то надрывность и гибельность звенит в этих строчках:

*И, задохнувшись “Интернационалом”,
Упасть лицом на высохшие травы.
И уж не встать, и не попасть в анналы,
И даже близким славы не сыскать [11, 141].*

За его бравыми, наступательными строчками проглядывает такое испуганное, такое печальное лицо, нависает такое облако тоски, неприкаянности, одиночества, что кажется, будто эти строки написаны не П. Коганом, а Мандельштамом (кстати, смысловые и ритмические параллели просматриваются отчетливо).

*Скажу, до чего мне грустно.
Скажу, до чего мне хочется
Тожже уйти с тобой.
Поверю свои надежды,
Которые не оправдались [11, 55].*

Он готов исполнить любой приказ эпохи, но ему трудно дышится в ее объятиях. Он по капле выдавливает из себя мечтателя и трусишку, чтобы казаться чекистом или пиратом, но одолеть себя не в силах. Стержневой лексический ряд в его стихах совсем не обычен для “забияки и атамана”, вершителя “скоротечных судов”, скорее, это человек, изнывающий под ударами судьбы, страдающий от неслиянности с той самой “громкой” эпохой: “на пороге беды”, “искусство, тронутое болью”, “ни во что не веруя”, “притворяться веселым”, “неотступная тоска”, “подступившая жуть”, “за своей бедой ухожу”, “попынная древняя тоска”, “боль моя старинная”, “тоска моя острожная” и т. п. И подобные слова-сигналы почти в каждом стихотворении. Надежды рухнули, задуманное не воплотилось, мечты не оправдались, “над землей вороний грай”, музыканту вместо скрипки вручили барабан, сердце превратилось в мертвую раковину — таковы итоги романтической молодости: “Но скучно одному, и поделиться не с кем” [11, 107]. Казалось бы, от-

куда такие минорные, безотрадные ноты? Перед нами преуспевающий юноша, студент ИФЛИ, и не просто рядовой студент, а признанный “предводитель” и поэт, стремительно восходящий на вершины славы. И вдруг эти бесконечные стоны и жалобы, эта обреченность на одиночество и гибель, эта изнуряющая рефлексия. Выход один: наступить на горло собственной песне, сжать зубы и биться. В нем словно соединились Маяковский и Есенин — официальная трибуна и подцензурное переживание, текст эпохи и текст души. Сосуществовать, примириться они не могли. Подавить это противостояние дано было только внешней силе — войне.

*Мы кончены. Мы понимаем сами,
Потомки викингов, приемники пиратов:
Честнейшие — мы были подлецами,
Смелейшие — мы были ренегаты.
Я понимаю все. И я не спорю.
Высокий век идет железным трактом.*

*Я говорю: “Да здравствует история!” —
И головою падаю под трактор [11, 74].*

У Николая Майорова меньше стихов о войне, чем у его сверстников, он почти не занят разработкой будущих сражений, однако и в его стихах слышатся раскаты военного грома. Он больше пишет о неудержимом порыве к творчеству, о жажде полета, о ярости жить и любить. Мирная жизнь героя Майорова идет по законам боя, это та же война, которую нельзя проиграть. Он пишет не о войне, а войною, как сказал Маяковский. Тема войны возникает у него из жизнеощущения, из атмосферы предгрозя, когда поневоле приходилось мыслить и чувствовать в стиле войны: бой, “вечные искания крутых путей

к последней высоте”, трубач, “утрюмая песня верного свинца”, истребитель, взрыв, прощанья, гроза, вскинутое дуло, “гнетущий привкус дымной гари” и т. п. — все это скорее из лексикона воина, чем из словаря студента-филолога.

*Смешалось все: вода и щебень,
Разбитый ящик, пыль, цветы.
И, как сквозные раны в небе,
Разверзлись молнии... [2, 56].*

Войны уже вовсю полыхали в мире, и Майоров отзывается на их грозное дыхание. И не просто отзывается: он готов бежать среди атакующих, готов умереть за правое дело (мотив смерти у этого юноши один из самых повторяющихся).

*Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,*

*Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою [2, 47].*

И Майоров, и его современники, чувствуя наведенное на них “дуло войны”, зная о своей неизбежной гибели, с готовностью приносили себя в жертву ради будущего, когда, как им казалось, развяжутся все узлы противоречий. И под этим дулом они оставались романтиками, мечтателями, они создавали воображаемые миры и легенды о них.

Но главной легендой была для них судьба своего поколения — особого в цепочке бесчисленных поколений. “О нас прошла всесветная молва”, — пишет он в стихотворении “Мы”, молва, равная мифу. Откуда такая уверенность у юноши, делающего первые шаги и в жизни, и в творчестве? Она подсказана еще не изжитой эйфорией революции, поэмой “Во весь голос” Маяковского, откуда взят эпиграф к “Мы”, максималистскими устремлениями XX века. К легендам и мифам о себе склоняло их собственное положение в истории: они жили в предошущении взятия последней высоты, видели себя участниками последнего штурма и победного парада. Вот почему они, еще почти не живя, почти ничего еще не сделав, не познав жизнь, начали творить обобщающие мифы и легенды о времени и о себе.

Обращают на себя внимание названия многих стихотворений Н. Майорова. В них не только накал эпохи, но и порыв к обобщению, стремление высказаться по самым крупным и принципиальным поводам, охватить переживанием бытие мира и человека: Мы, Творчество, Торжество жизни, Рождение искусства, Утрата, В грозу, Отцам, Памятник и др. И почти в каждом — напряжение жизни и борьбы, жажда любви, работы, творчества, всеобщего обновления. Герой Майорова живет на пределе, он одержим во всем и никогда не остановится на полдороге, он во власти “упорной жажды высоты” и либо достигает ее, либо гибнет. Его стихия — преодоление невозможного, переступание барьеров. Искусство для него — та же высота, потрясение, озарение, преодоление грубой и тяжелой плоти, прорыв к духовности и красоте (из послевоенных поэтов ближе всех к нему, пожалуй, А. Прасолов). Надо написать так, будто высек слова на камне. Надо взлететь так высоко, куда никто не поднимался.

*Для нас, нескладных и упрямых,
Жизнь не имела потолка [2, 29].*

И как трагично для России, что такое полетное, такое пассионарное поколение почти целиком полегло на войне. Оно принесло нам победу,

но, потеряв его, мы оказались перед опасностью потерять и саму Победу...

Лирический герой Майорова, в отличие от других, ближе к самой материи жизни, к ее созидательным силам. Он не навязывает ей своих велений и не дает конкретных указаний, он видит в ней самой возможности творческого преобразования. Вот почему он меньше других писал о войне. И он увидел в ней не только возможность проявить доблесть и прославиться, но и сумел понять ее противочеловечный, антигуманный характер. Мальчишки дерутся до первой крови и договариваются не бить в лицо. А взрослые люди на поле боя безжалостно колот друг друга штыками, забыв, что и они когда-то были детьми, т. е. людьми.

*А ныне вновь война и порох
Вошли в большие города,
И стала нужной кровь, которой
Мы так боялись в те года [2, 64].*

На войну он уходит не от презрения к обыденной жизни, не от жажды славы или стремления перестроить мир, а по жестокой необходимости, оставляя главное — жизнь и творчество: не докурив, не дописав, не долюбив. Он еще многое не видел, многое не испытал, не надышался воздухом, он живет взахлеб и настоящим, и предстоящим. При всех запредельных порывах он удивительно нормален и духовно здоров. И война сгубила его, остановив на взлете. Собственно говоря, его “Мы” — это не только легенда и миф, это и величественный реквием поколению, положившему свою жизнь на алтарь Победы...

При всей своей поколенной общности, поэты предгрозя дают разные ответы на тревожные вопросы времени. И прежде всего — что же такое для них война? Почему добровольно идут на войну и за что там сражаются и погибают? Для одних война — это мужество преодоления всего и вся, в том числе и себя, героизм и слава, честь и свобода Родины. Для других — испытания, тяготы, разрушение и смерть, списанные в расход силы и годы. Противно “дважды в день считать себя умершим”, — пишет В. Багрицкий. Противно жить не раздеваясь, спать на гнилой соломе, не получать писем из дома, менять барахло на черный хлеб, вспоминать погибших, “ликовать, что жил на свете меньше двадцати” [6, 35]. А ведь он, как и многие, рвался на фронт, готов был отдать свою жизнь как благородную жертву. И это понижение пафоса вполне объяснимо:

*Немало дорог нам пришлось пройти,
Мы поняли цену войне [6, 39].*

Война для В. Булаенко — это не только героика, подвиги и слава, это трагедия. Она всколыхнула до дна весь народ, всю историю, подняла на борьбу не только отважных защитников, но и всякую нечисть. По дорогам войны бредут волхвы и бандуристы, сам Григорий Сковорода со своими думами, слышны скорбные песни и легенды, стоны и плач матерей.

*Я — блудный сын литературы,
Певец Коммуны и Мадонны,
Во дни меча, сквозь беды и руины,
Под взглядом века кланяясь свинцу,
Я прошел степями Украины
Как слеза обиды по лицу [6, 65].*

Трагедию вселенского масштаба увидел во второй мировой И. Рогов. Вспоминая легенду о Прометее, подарившем людям огонь, он с горечью замечает, как по городам и весям бушует сумрачный огонь войны и как люди подальше бегут от него, чтобы спастись, бегут туда, где темней, где вовсе нет огня.

*И города Европы
В черном лежат дыму,
Те, кто любил и жил с ним,
Проклятия шлют ему.
Проклятия светлomu небу
И голубым морям,
Что дышат огнем... [6, 236].*

Но парадокс в том, что только огнем можно справиться с адским пламенем войны: “Путь расчищая жизни, Смертию смерть поправ” [6, 238].

Редко у кого из поэтов фронтового поколения запечатлен быт войны. Во-первых, для многих война и быт несовместимы. Во-вторых, еще сказывалась инерция неприятия быта в поэзии революции, прежде всего у Маяковского. В-третьих, многие просто не успели освоить этот быт, погибнув в первые месяцы или год войны. Чаше всего в их стихах походы, бои, атаки, рукопашная, взятые высоты, гибель соседа по окопу. М. Сурначев показывает солдатский дом — “фронтовую избушку”, устроенную в обычной земляной норе.

*Буссоли, старая газета
Да томик Блока на столе,
Как будто больше нет поэтов
На всей измученной земле.*

*Пол утрамбован очень плотно,
Печурка сделана штыком —
Вот весь уют мой мимолетный,
Мой фронтовой надежный дом [6, 276].*

Значение этих строк хотя бы в том, что они приближали поэзию к человеку, к реалиям его внешней и духовной жизни на войне.

Как нечто оскорбительное для земли, как угрозу всему невинному и святому воспринимается война В. Шульчевым (стихотворение “Испанскому учителю” [8, 293]). Гибель на войне, как ее ни обставляй героикой и высшими соображениями, всегда исполнена горечи и скорби. Но если кто думает, что гибелью исчерпываются все муки и беды солдата, он явно ошибается. Смерть завершает все, что солдат перенес до нее, и чтобы узнать солдатскую долю, надо быть рядом с ним. Это пытается объяснить своему сыну В. Занадворов в стихотворении “Война”. Почему он говорит о том, что было до смерти? Ведь ужасный финал известен. Однако он не покрывает, не отменяет всех подневных мучений бойца. К тому же каждый до конца верит в жизнь и не ради смерти переносит непомерные лишения. И перед войной не все поэты предгрозя однозначно видели исход своей судьбы в смерти. Э. Подаревский писал в 1938 году:

*...Дьявольски хочется не умирать.
Все в мире
услышать,
узнать и понять, —
И звезды ночей,
И журчанье ручьев,
Рожденье стихов.
И дрожь парусов,
Романтику странствий
И цокот подков,
Романтику схваток,
Романтику слов,
Романтику песен
И песни ветров [6, 217-218].*

Война, перетряхнув инвентарь юношеской романтики, высветила со всею силой чудо обыкновенной человеческой жизни, чудо земного ненасильственного кругооборота. Не следует на войне гадать, что нас ждет впереди, всякое может быть. На подмосковных рубежах 1941 года Э. Подаревский выразил то, под чем подписались бы почти все, погибшие на войне (он тоже погиб, в 1943 г.):

*Нет никого,
кто бы знал
наперед,
Может быть,
бомбой
шальной разворочен,
Жутко зияя осками стен,
Дом наш рассыплется,*

*слаб и непрочен...
Может быть... Много нас ждет перемен...
Что же... Когда-то, романтикой грезя,
Мы постоянство считали
грехом,
То, что казалось кусочком поэзии,
Нынче явилось
в огне и железе,
Сделалось жизнью,
что было стихом [7, 261].*

Если накануне войны почти все поэты предгрозя сурово и просто говорили о смерти, о готовности погибнуть ради высших целей, то из солдатских окопов, наперекор всему, раздаются голоса, утверждающие жизнь, яростно спорящие со смертью. “Идем мы, смерть презирая, Не умирать, а жить!” [7, 37] — пишет Е. Березницкий (погиб в 1941 г. под Ельней). На пороге смерти они открывали для себя то, чем жизнь полна и хороша. Не разудалый воин-покоритель, не воинственный романтик, а истинный труженик — вот кто настоящий товарищ поэта Д. Вакарова (стихотворение “Мой товарищ” [7, 49].

Настоящее, повседневное для романтика как бы не в счет, оно кажется обременительным и малозначимым. Совершенно иначе оно стало оцениваться, когда было отрезано огненным мечом войны. Идя в бой, М. Геловани думает о вчерашнем мирном дне:

*День, который прошлым сделала война,
Был любовью, жизнью, солнцем... Оттого
И у пуль, летящих к цели, цель одна —
Возвращенье в настоящее его [7, 68].*

Жажда жизни все настойчивее утверждается как решительный аргумент против вражеской пули и бомбы. И уже редко к кому приходило желание поэтизировать смерть, ибо она тоже стала обыденным явлением. А жизнь, напротив, понимается как ходатай за спасение, как надежный проводник по гибельным топям войны. Не мелкая эгоистическая дрожь за собственную шкуру преобладает в жажде жизни, а возможность продолжить борьбу с фашизмом, с черными силами уничтожения жизни. В “Письме из окопа” Муса Джалиль приоткрывает глубинные смыслы жажды жизни:

*Пусть над моим окопом все грозней
Смерть распускает крылья, тем сильней
Люблю свободу я, тем ярче жизнь
Кипит в крови пылающей моей! [7, 93].*

Если до войны взоры поэтов были устремлены только вперед, то на фронте они все чаще

оглядываются назад, провожая самое дорогое или мечтая о прошлом, словно о будущем. Но чтобы скорее вернуться к полям и хатам детства, надо было все дальше уходить от них, освобождая страну. Многие и многие уходили навсегда, полегли на полях сражений. У М. Сурначева павший на поле боя так укрупнен, так исторически значителен, будто это былинный богатырь, заслонивший собою то самое поле.

*Уже не доехать
Бойцу молодому
До края родного,
До отчего дому.*

*Лежит он раскинувшись,
Руки разбросив,
Над ним обгорелые никнут
Колосья.*

*Лежит он, как витязь,
В потоптанном жите,
Родную увидите —
Не говорите [7, 302].*

Конечный пункт солдатского маршрута на этой войне — не вражеское логово, не поверженная страна, а порушенные города и села детства и юности, откуда он ушел, не допев свою песню. Хорошо сказал об этом Ю. Черкасский, погибший в 1943 г.

*Сквозь все преграды мы туда придем
В землянках жить и строить новый дом,
Работать от рассвета до рассвета.
Растить другие клены над прудом
И славить город песней недопетой [7, 332].*

Разумеется, жажда жизни и оптимизм — спасительное оружие на войне. Однако и оно не все-сильно. По стихам поэтов-фронтовиков видно, как рвет на части их сердца гибнущая жизнь, умирающие на глазах товарищи, как горько для них умаление, убывание всего живого на земле. Вот почему грезят они о работе строителя, пахаря, садовода, о поспевающих хлебах и тучных стадах, обо всем, что восполняет погубленное войной и восстанавливает баланс между жизнью и смертью. Не раз высказывалось у нас печатно и устно: сколько погибло на войне талантов, быть может, гениев, сколько открытий чудных унесли они с собою, сколько прекрасных детей народилось бы от них. Но эта убывающая мощь и разнообразие живого, плач по непроросшему и нерожденному подслушаны поэзией уже в годы войны. В стихотворении “Желание”, написанном в 1942 году, М. Шпак, казненный гестаповцами, пророчески угадал:

*Я в братской буду, Зина,
Лежать среди осин...
Ты так хотела сына,
Чтобы в меня был сын!* [7, 358].

В поэзии, как и в действительности, немало случайных совпадений. Но эти случайности удивительно напоминают о какой-то закономерности. В том же 1942 году А. Твардовский задумал поэму “Дом у дороги”, в которой вопреки всему, на самом краю жизни – в немецком концлагере – у Анны Сивцовой рождается сын, и она дала ему имя отца – Андрей.

Жизнеутверждение, понимание жизни как наивысшей ценности не могло получить у поэтов фронтового поколения всестороннего обоснования. Не могло по нескольким причинам. Прежде всего они были молоды и еще не познали всего состава жизни, всей мудрой красоты рождения и роста, созидательного труда, отцовства, любви к земле и дождю, после которого все оживает и расцветает. Если и есть у них природа, то лишь в своих стихиях, а не в мудрой гармонии с человеком. Жизнь для них – прежде всего борьба, горение, ярость творчества, жертвенная самоотдача. Они чувствуют себя живым мостом, по которому настоящее перебежит в будущее – вот там-то и начнется полноценная жизнь. Вот почему они никогда не считали свою смерть поражением или простым уходом ни за что.

*Коль умрем – на могилах у нас
Вырастут штыки и знамена* [6, 62].

Жизнь многих (если не всех) “юношей 41-го года”, рожденных революцией, оборвала война. Однако они не были потерянными поколением. Они мечтали о битвах и подвигах – и война сделала их героями, никого не пощадив. Они надеялись остаться в памяти потомков хотя бы одним стихотворением, хотя бы одной строкой – людская память оказалась более щедрой, их выжившие сверстники собрали и сохранили почти все, что они записали в своих тетрадочках и блокнотах. Они жили с потребностью ощущать

локоть товарища, в стремлении к объединяющему “мы” – и стали для потомков поэтами одной прекрасной и грозной судьбы, порой до неразличимости близкими, хотя на деле это не так. Одной шеренгой идут в грядущее поэты военного призыва, из пепла и небытия поднимаются все новые и новые имена, удлиняя эту шеренгу. Их духовный и нравственный опыт и подвиг – это наше наследие, которое мы не должны потерять. В заревах и салютах великой Победы необходимость этого наследия ощущается еще острее. И больше. Больше потому, что от многого мы уже успели отречься, от многого, что было им дорого, отвернулись, отказались, а многое попросту предали. Однако отказы и беспамятство всегда губительны...

ЛИТЕРАТУРА

1. Лазарев Л. Юноши 41-го года / Л. Лазарев // Вопросы литературы. – 1962. - № 9.
2. Майоров Н. Мы. Книга стихов / Н. Майоров. – М., 1962.
3. Кожин В. Лирика военного поколения / В. Кожин // Социалистический реализм и художественное развитие человечества. – М., 1966.
4. Недогонов А. Дорога моей земли. Стихи / А. Недогонов. – М., 1975.
5. Недогонов А. Троянов вал / А. Недогонов. – М., 1978.
6. Имена на поверке. Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. – М., 1975.
7. До последнего дыхания. Стихи советских поэтов, павших в Великой Отечественной войне. – М., 1985.
8. Винтман П. Голубые следы. Стихи / П. Винтман. – Киев, 1977.
9. Кульчицкий М. Рубеж / М. Кульчицкий. – М., 1973.
10. Живой голос времени (Страницы дневника и писем Михаила Кульчицкого // Вопросы литературы. – 1967. - № 10.
11. Коган П. Гроза. Стихи / П. Коган. – М., 1989.